

Пропавший глаз — эпизод 3 из 6

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую недвижно, в забытии от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разрядить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях, в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие невероятные трудности мне приходится переживать! Ко мне могут привезти какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остались трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос — удастся ли мне отстоять ее. Да и как мне отстоять

ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не повезло. Ах, сердце щемит от одиночества, от холода, от того, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил — ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостойн я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения.

Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, но теперь я вижу, что он пролетел как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, кончивший университет».

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник — ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых же шагах моих в Мурьинской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть... я помню прекрасную румяную, но исстрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно побрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дядьку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот несколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого-о.